Юрий Трифонович

Время жить

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Очерк о Кипре последней трети XX века и о литераторах-киприотах, Элли и Паносе Пеонидисах.

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Элли и Панос

Знаменитый английский ученый Джон Бернал говорил: «Жизнь, подобно Афродите, родилась из пены морской». Так просто, мудро и поэтично был расшифрован древнегреческий миф о богине любви и красоты Афродите-Киприде, явившейся в молодой мир с накатом морской волны на каменистый берег. Родилась Афродита возле острова Киферы, но в истоме медленного пробуждения была отнесена ветром на Кипр, где обрела мускулистую силу вертикали.

Жизнь родилась из предвечного океана, говорит наука. То же утверждает на своем языке миф, ведь основа жизни — любовь, а дарящая богам и смертным любовь Афродита явилась из царства Посейдона. Страсть пронизала безлюбый мир, который, познав блаженное таинство соединения, принялся упоенно творить все новые и новые формы жизни.

Мы едем на машине из Лимасола в Пафос, и нам не миновать того заветного места, где прекраснейшая вышла из пены морской. Хочется сдержать бег нетерпеливого коня — старенького «Вольво» и приглядеться к окружающему: пологим зеленым холмам справа от дороги, долине — слева, к встающему за ней и быстро расцеживающемуся утреннему туману, сквозь который уже проблескивает морская вода. Но останавливаться нельзя, тем паче сворачивать с дороги, хотя бы к кювету: в территорию суверенного государства Кипр врезалась английская военная база Акротири. Бывшие хозяева Кипра, уходя, отторгли от небольшой страны два немалых куска ее тела, два шмата кровоточащей плоти. И в памяти возникает шекспировский ростовщик Шейлок, готовый вырезать кусок мяса из тела благородного венецианского купца Антонио за долг, который тот не сумел вовремя вернуть. Англичане куда омерзительнее Шейлока — Кипр им ничего не должен, напротив, это они в неоплатном долгу перед Кипром, из которого восемьдесят лет тянули соки, да и аппетит их вдвое превосходит шейлоковский. Как известно, жадный ростовщик ничего не получил, сраженный хитроумными доводами добровольной адвокатесы Порции, но современные шейлоки безнадежно глухи к соображениям справедливости, разума, чести и естественного человеческого права, их ничуть не смущает дикость того обстоятельства, что один европейский народ захватил землю другого европейского древнейшей цивилизации народа, в нравственную основу которого заложено благородное

миролюбие.

Волнистый, плавный, как-то нежно и округло сопрягающийся пейзаж испещрили жесткие геометрические фигуры английских коттеджей, военных сооружений, казарм, теннисных кортов, спортивных площадок для игры в бейсбол и регби. Рыжие, — может, они кажутся такими в утреннем освещении? — веснушчатые по красноватой, не загорелой, а обожженной коже подростки беспечально отмахивают битой сильно пущенный бейсбольный мяч, потом бегут, работая локтями, другие дерутся и пашут носом землю во славу кожаной груши. А вот и английский патрульный «джип» обочь шоссе, солдаты в серых армейских рубахах, черно пропотевших в подмышках и по хребту, курят, оплевывая близлежащую природу, пьют кока-колу из горла, закидывая голову и ерзая кадыком, и даже тень сомнения в законности их пребывания на чужой земле не туманит бледно-голубого безмятежно-идиотического взгляда.

Противно было видеть эту военную шпану на пути к Афродите.

Мы миновали указатель границы оккупированной территории, и через некоторое время впереди вычернилась скала, у подножия которой, как нам уже сообщили, морская волна вынесла златокудрую богиню. Еще один легкий удар по нервам: на обрыве, прямо над заветным местом, стоял грузовичок-фургон с итальянским мороженым. Приторный эрзац шоколадного, фисташкового, малинового, абрикосового и кофейного цвета спирально вытекал из краников и заполнял вафельные стаканчики в черно-волосатых руках мороженщика, совершившего свое маленькое оккупационное кощунство в священном месте.

Ладно, сморгнем мороженщика и останемся наедине с вечностью.

Было утро мира и утро дня, когда дни еще не начислялись, раннее, непрогретое утро; тонкая пленка остывших за ночь испарений, в которой бледно растворялся первый досолнечный свет, обволакивала все пребывающее в пространстве: скалы, масличные деревья на каменистом вскиде берега, щетину выгоревшей травы, отмель, усеянную сахаристой галькой, и даль, ибо она тоже пребывала в мире, не менее реальном, чем скалы, оливы, камни и песок. Из-за горной гряды на востоке брызнул бледно-золотой свет и заполнил пространство; пелена стала быстро плавиться, возвращая всему сущему его собственные краски: скалы из бурых стали искрасна-лиловыми, с черным бархатом теней в морщинах, листья олив — глянцево-зелеными с жемчужным исподом, каменистые обнажения — загустелой

красноты бычьей крови, галька опаловой и будто светящейся изнутри, вода заискрилась у горизонта и погнала к берегу валы с синей воронью.

Долгая косая волна, гулко ударившись о скалу, раскатилась по отмели, оставляя пышные шапки пены; в одном из этих пенных холмиков ворочалась большая серебристая рыбина. Но когда волны со змеиным шипением отползли назад, на мокром песке осталась не рыба, не чудо морское с зеленым хвостом, а дивной красоты женское тело. Пузырьки пены лопались на алебастровой коже. Пришелица из морских глубин очнулась от забытья, медленно огладила себя ладонями, сняла с бедра темную водоросль и легко, уверенно стала на ноги, уже зная, что она богиня, и мир откликнулся ей общим любовным вздрогом, в нем возникло новое натяжение, сменившее прежнюю безлюбую дряблость, а из-за дальней горы в слепящем великолепии поднялось солнце — Афродиту приветствовал ее светозарный брат Аполлон. И богиня пошла ему навстречу.

— Мне ванильного, — сказала Афродита.

Считается, что боги не стареют, пребывают в постоянном возрасте. Наверное, это так, когда вечная юность заложена в самом существе бога: солнечный Аполлон, охотница-девственница Артемида, быстрый на ногу Гермес — связной Зевса, но ведь всем знаком облик ребенка Диониса на руках Силена, а в какого могучего, дивного мужа вымахал он в пору Тесеевой авантюры, явившись на пустынный берег Наксоса за брошенной героем Ариадной. И думается, седые нити прошили бороду козлоногого Пана, когда его свирель была побеждена кифарой Аполлона, и он удалился, опечаленный, в гущу лесов. Афродита Милосская ближе всего к образу юной девушки, вынесенной волной на кипрский берег, в Афродите Книдской, изваянной Праксителем, торжествует пышный женский расцвет, а в Пафосской Афродите — зрелость материнства, она уже дала жизнь Эроту, вспоила его своим молоком, вырастила трудного ребенка; чуть ослабли мышцы живота, мясисты все еще прекрасные бедра, корпус тяготеет к наклону опекающей нежности. Так вот ванильная сладость в вафельном стаканчике приняла из волосатых рук мороженщика Афродита, благостно огрузневшая, беспокойная мать, сварливая свекровь Психеи, отнявшей у нее славу первой красавицы Олимпа, Афродита того города, куда мы сейчас едем, чтобы принять участие в торжественном вечере, посвященном шестьдесят седьмой годовщине Великой Октябрьской революции.

Мы с женой гостили на Кипре у наших старых друзей Элли и Паноса Пеонидисов. Панос — член ЦК АКЭЛ (эта партия возникла

в 1941 году на основе коммунистической партии) — делал праздничный доклад на вечере. Со временем стираются все слова, высокие раньше других, ведь изначально они задевают сильнее обыденных и потому быстрее срабатываются. Но совсем иначе звучали привычные речи в огромном гулком зале, служащем для концертов, театральных представлений и народных сборищ. На острове, чья судьба так мучительна, обрели первозданную свежесть старые созвучья. Все, что говорил Панос о далекой северной стране, свершившей пролетарскую революцию, оборачивалось болью за собственную, безмерно любимую страну, растерзанную, униженную, постоянно помнящую о своем расчлененном теле.

Пылающее лицо Паноса на трибуне связывается в памяти с милыми, доверчивыми и какими-то всполошенными глазами его дочери Мелины, смотревшей по телевизору праздничный парад наших войск на Красной площади. Шестнадцатилетняя Мелина — создание радостное и глубокое. Она всегда занята, ее существование не терпит незаполненных минут, и в каждое дело она вкладывает себя целиком: будь это школьные уроки, домашнее хозяйство, чтение, отплясывание в дискотеках или ежедневные часы Шопена — музыка ее страсть. И эта музыкальная, ласковая девочка воскликнула, сжав кулачки:

— Боже, какие вы счастливые, что у вас такая армия!

То был голос юного, бесхитростного и тяжело обиженного сердца. Девочке вспомнились черные дни 1974 года, когда лилась кровь ее соотчичей, когда двести тысяч исконных обитателей Кипра, изгнанные с насиженных мест, из своих жилищ, со своих полей и виноградников, разутые, раздетые, брели под палящим солнцем на юг и прозвучало горькое слово «беженец», когда над Фамагустой взвился турецкий флаг, когда кончилось что-то хорошее и чистое, а дурное, злое, несправедливое бесстыдно обнажилось. Вот о чем думала Мелина, глядя на шагающие по Красной площади войска. И захлебнулась душа: как прекрасно быть защищенным против зла, против гарпий-трупоедов, высматривающих красными глазами слабые места на мировом теле!

Мы привыкли к мощи и оснащенности нашей армии, мы не смотрим на нее со стороны, как на нечто, находящееся вне нас, ведь все мы так или иначе проходим через армейскую службу. Мы носили доспех в свой час, сейчас настала очередь этих юношей, шагающих через Красную площадь, ну, и что тут такого? О, как много!.. Юная киприотка своим наивным восклицанием расколдовала привычность…

Я собирался рассказать об Элл и и Паносе, а говорю о мифах,

базах, турецкой агрессии, митинге, посвященном Октябрю, девочке, зачарованной шествием народной армии по Красной площади. Но об этих людях нельзя говорить иначе: мифы и жестокая реальность, перед которой не потупляешь глаз, движение мировой жизни, несущее тревогу и надежду, — все проходит через их распахнутые души. Эти люди — плоть от плоти, кровь от крови своего народа, чья историческая судьба требует много мужества, терпения, стойкости, планомерного упрямого труда, бодрости и хороших песен.

Искусство, поэзия, вся культура Кипра, не утрачивающая в близости к греческой своей самобытности, неотторжимы от его мученической судьбы. А судьба эта заложена в слишком соблазнительном географическом положении: Кипр словно нацелен на Ближний Восток. Он издавна привлекал завоевателей и в пору крестовых походов был захвачен рыцарями-освободителями гроба господня (Ричард Львиное Сердце пышно сыграл здесь свою свадьбу); в военно-морской стратегии англичан на Средиземном море Кипр был самой большой канонеркой. Поэтому и не ушли они с острова, получившего статус свободного и независимого государства. Позже американцы последовали их примеру, развернув на отторгнутой турками территории базу быстрого реагирования.

Другая историческая трагедия Кипра: на маленьком островном пространстве должны уживаться два народа, различные во всем, — в религии, обычаях, нравах, истории, языках — и традиционно-враждебные один другому. И все же сосуществование удавалось — древняя культура Эллады, врожденное миролюбие и терпимость исконных обитателей Кипра — пахарей и виноградарей — помогали улаживать и снимать противоречия, гасить запальчивость нетерпячих соседей. И в этом брезжила возможность прочной государственности на федеративной основе, которая уже начала не без успеха осуществляться. Но когда по взмаху дирижерской палочки натовских стратегов вспыхнул мятеж (пора было привязать неприсоединившийся Кипр к атлантическому блоку), и в Никозии расстреляли президентский дворец, и столичная радиостанция, захваченная путчистами, захлебывалась восторгом: «Макариос мертв!.. Макариос мертв!..», и националист-ножебой Сампсон возглавил правительство мятежников, Турция направила на Кипр сорокатысячный экспедиционный корпус «для защиты турецкого населения», и Кипр раскололся на две части.

В ту пору Паносу Пеонидису было под пятьдесят. За плечами — большая и сложная жизнь. Он родился в семье школьного учителя, человека религиозного, крайне строгих правил,

неизменного члена церковного совета. Верить и выполнять церковные обряды — дело совести человека, но отец Паноса сделал из веры как бы вторую профессию, создававшую в семье атмосферу духоты и нетерпимости. Мелочная и недобрая вера отца очень рано отвратила Паноса, живого и любознательного мальчика, от небес и посеяла в душе первые семена бунта. Он и сам считает, что его жизненный путь определился в детстве — сопротивлением двойному гнету: отцовскому и религиозному. Он рос, учился, много читал, в свой срок пришли к нему мифы Греции, боги и герои, эпос и трагедия, все неизмеримое наследство эллинского мира; в историческое чувство властно вторгалась современность, он и сам не заметил, как из чистого мира природы и памяти переселился в сложный и неопрятный социальный мир. Ступив в юность, он понял, что куда страшнее домашней и церковной давильни колониальный гнет. Море одарило Кипр Афродитой и любовью, море принесло англичан и ненависть. Не в холодном рассудке, а в горячей крови зародилась первая идея: родина должна стать независимой.

Когда началась вторая мировая война, Панос пошел добровольцем в армию, которая считалась английской: она была вооружена английским оружием, оснащена английской техникой, ею командовали надменные английские офицеры, но пушечное мясо, упакованное в английскую форму, было греческим. Панос пошел на войну не для того, чтобы защищать Британскую империю, но паук свастики был куда страшнее для народов, чем одряхлевший английский лев, и, подобно большинству своих соотечественников, Панос не сомневался, что война принесет свободу его родине.

Он стал минером. Это одна из опаснейших военных специальностей, недаром говорят, что минер ошибается только один раз. Панос не ошибся, иначе не было бы этих записок. Военная служба выработала в нем те качества, которые необходимы коммунисту-подпольщику (еще в армии Панос вступил в АКЭЛ): мужество, хладнокровие, терпение. Впрочем, мужествен он был по природе, а вот терпения и хладнокровия недоставало эмоциональному юноше, натуре отчетливо художнической. Боевое крещение Паноса состоялось в Африке, а идейное он получил на древней земле Эллады. Партизаны сыграли решающую роль в освобождении Греции, но англичан это ничуть не умиляло. Для них изгнание гитлеровцев было лишь прелюдией к настоящему делу — очищению Греции от всех патриотических сил, в первую очередь от бесстрашных партизан. В Афинах начались кровавые столкновения между английскими войсками и греческими патриотами. Однажды генерал приказал

атаковать позиции партизан, а рядовой Пеонидис этот приказ отменил. Бунтаря тут же схватили и бросили в тюрьму, но не расстреляли — время для этого было слишком уж неподходящее. Из греческого застенка его перевели в египетский концентрационный лагерь, где он и встретил великий день победы над фашизмом. Англичане не стали возиться с заключенными и отпустили их по домам.

Университеты Паноса были под стать горьковским — наука жизни, но полем скитаний была вся Европа: от Балкан до Англии. Впрочем, начал он с туманного Альбиона, куда приехал он с шестью фунтами в кармане. Лондона он, естественно, не знал, пришлось взять такси. Расплачиваясь, он не мог дать на чай шоферу. «Вы что — нищий?» — нагло сказал шофер с бульдожьим прикусом. «Разумеется, — спокойно отозвался Панос. — Я — из английской колонии».

В отличие от волжского скитальца, Панос порой оказывался на студенческой скамье, откуда его быстро срывали то журналистика (он сотрудничал в коммунистической газете «Трибюн»), то партийные задания, то гражданская война в Греции, куда он, член Комитета демократической Греции, был послан в качестве журналиста и партийного функционера. Он благополучно перешел границу и присоединился к армии патриотов-демократов. Его корреспонденции с мест боев печатались в Англии и на Кипре. Когда демократические силы потерпели поражение, Панос обосновался в Болгарии.

Он работал в «Эллас-пресс», снова пошел учиться и наконец-то осилил полный курс наук на историко-филологическом отделении Софийского университета. Вскоре он женился. Родил сына и дочь. Жизнь заладилась, он читал лекции, приобрел хорошее имя в журналистике, переводил с греческого на болгарский художественную литературу, но в исходе пятидесятых на Кипре разгорелась антиколониальная борьба, и Панос через Югославию и Италию поспешил на родину. Когда пароход прибыл в порт Лимасол, Паноса арестовали прямо на борту. Но все же не было у колониалистов прежней хватки, Паноса недолго продержали в тюрьме и отпустили под надзор полиции. Надзор свелся к тому, что Панос раз в месяц отмечался в полицейском участке. Остальное время он отдавал партийной работе и агитации против англичан. В 1960 году Кипр обрел независимость и уделил свои цвета: зеленый и желтый государственному флагу и гербу.

Паноса выбирают председателем Молодежной организации Кипра (наш комсомол) и генеральным секретарем Комитета в защиту мира. Семья приезжает к нему и вскоре рушится. Время

было тревожное. Много жадных рук тянулось к Кипру, он не давал покоя НАТО, греческие реакционеры не прочь были присоединить остров к Греции, Пентагону Кипр представлялся отличной взлетной площадкой для печально-знаменитых самолетов-шпионов У-2, чесались руки и у турецких агрессивных элементов. Да и на самом острове было беспокойно, все учащались столкновения между греческим и турецким населением. Самый воздух был настоян едкой гарью опасности, словно в пору лесных пожаров. Опасность давно стала привычной формой существования для Паноса, лишь менялось ее обличье: мины, не прощающие и одной ошибки, принадлежность нелегальной армейской партийной организации, за что можно было поплатиться тюрьмой и даже расстрелом, неподчинение приказу генерала-карателя, незаконное пересечение греческой границы и поход с армией «мятежников», как называли патриотов хозяева страны, самовольное возвращение на Кипр и борьба с англичанами, необъявленная война с многочисленными силами реакции. Жизнь среди молний не мешала Паносу любить жену и детей, писать рассказы — в журналисте пробудилась тяга к художественному творчеству, встречаться с друзьями, пить вино, слушать музыку и ходить на вернисажи, но жена его не отличалась такой закалкой. Милая, добрая женщина была прекрасной подругой для спокойной, тихой жизни, но не для баррикад. Нервы ее сдали, она уехала в Болгарию — навсегда.

В этом трудном для него году Панос издал сборник рассказов «Кумандария». По-военному звучащее слово означает сорт любимого киприотами вина — сладкого, пряного и крепкого. Этим вином кипрские мальчишки напоили английских солдат, закрывших их школу, — в основу всех рассказов сборника положены действительные события. Солдаты, посмеиваясь, пили сладенькое вино, но скрытая сила кипрской лозы посшибала с копыт самоуверенных вояк. Забористыми были и другие рассказы, сборник имел значительный читательский успех и поставил Паноса перед сложным вопросом: творчество или политическая деятельность? И то, и другое требуют всего человека: нельзя стать настоящим художником в свободное от партийной работы время, и не дело партийному руководителю мыслить образами, а не реалиями. С этим связалась и другая проблема, казалось бы усугубившая внутреннюю смуту, на деле же помогшая развязать все узлы.

Панос познакомился в Лимасоле с девушкой по имени Элли. Она сочиняла стихи; кое-что печатала. Девушка не писала о любви, что уже понравилось Паносу, считавшему, что во мраке реакции любовью можно заниматься, но писать надо только о

борьбе. Отец девушки был крестьянином-виноградарем, выбившимся в маленькие предприниматели. Способный химик-любитель, он научился делать ароматные эссенции для парфюмерных изделий и подумывал о собственном магазине в торговом центре Лимасола. Свое намерение он вскоре осуществил. К творчеству дочери в доме относились более чем равнодушно, а к появлению Паноса — крайне враждебно.

Кряжистому крестьянину-парфюмеру не нравилось в нем решительно все: и то, что он партийный функционер, а не строитель, врач или аптекарь, и то, что он женат и у него двое детей. Страстный охотник на пернатую дичь, меткий стрелок, он довел до сведения прыткого ухажера, что застрелит его, как куропатку, если тот не оставит Элли в покое. Он тоже был минером во время войны, и Панос считал, что минер никогда не поднимет руку на минера, он не оставил Элли в покое. Они вместе поехали в Болгарию, где Панос быстро получил развод. Там же сыграли свадьбу. Патрон, предназначенный Паносу, был израсходован на горную куропатку.

Панос считал талант Элли более органичным и перспективным, нежели свой, да и не ужиться двум богам в одной кумирне. Во всяком случае, Паносу не хотелось ставить подобного опыта, и для Элли лучше, если муж будет «делателем» жизни, а не бумагомарателем. Позже Элли скажет: Панос дал мне мировоззрение. Через год после замужества она вступила в партию. Еще через год вышла ее первая книга, новые стихи отливали спелым цветом зрелости.

Панос безжалостно придушил собственную песню, но сам он не преувеличивает своей жертвы. Если человек действительно обречен творчеству, то он, не задумываясь, отринет все остальное. Если же он способен взвешивать «за» и «против», то надо выбирать прямое действие жизни.

Ныне Панос оргсекретарь Лимасолского обкома партии, член Центрального комитета, он выступает в печати со статьями, рецензиями, публицистикой, недавно собрал книгу. Рассказов он не пишет.

Если Панос шел к своей судьбе, столь сложно маневрируя, то встречное движение было куда прямее и проще. Элли вышла к Паносу из деревни Васса, что в сорока километрах от Лимасола. «Вышла» надо понимать фигурально, но я подозреваю, у однолюбов так и происходит: они бессознательно с первых шагов идут навстречу любимому.

Разумеется, Панос ни о чем таком не ведал: он воевал, бунтовал против армейского начальства, садился в тюрьму, словом, жил жизнью, о которой было рассказано выше, а девочка

все увереннее шла на своих крепких ножках сперва по каменистым дорогам Вассы, потом по асфальту Лимасола, куда переехали ее родители. Миновали начальная школа и гимназия. К этому времени Элли уже писала и печатала стихи и даже получила в семнадцатую весну премию на литературном конкурсе. Последнее произошло между рождением у Паноса дочери Афродиты и нелегальным возвращением на Кипр. Конкурсный успех заставил родителей Элли серьезно задуматься о ее будущем. Она грезила литературой. Это было опасно, и властная рука отца Никоса Аргиридиса, уже открывшего лавочку в Лимасоле и успешно торговавшего ароматными изделиями собственного производства, что значительно повысило в нем от природы немалое самоуважение, впихнула девушку в Афинский педагогический институт, на отделение домоводства. Отец сознательно выбрал для дочери столь прозаическую специальность, чтобы погасить поэтические бредни.

Окончив институт, Элли вернулась в Лимасол и поступила в детский дом учительницей. И тут пересеклись пути юной поэтессы-педагога и романтического вожа кипрской молодежи, недавно проводившего долгим взглядом жену, покинувшую огнедышащую землю Кипра. Что было дальше, мы знаем. Две половинки разорванного человеческого единства обрели друг друга, составив нерасторжимое целое. Так не часто бывает в броуновой мельтешне жизни, но бывает, и тогда это великое счастье.

Некоторое время после замужества жизнь Элли никак не могла обрести стабильность. Менялись места работы: гимназия, газета, радио, телевидение («час женщины» — советы по разным бытовым вопросам). Пестрота деятельности отразилась в псевдонимах, которых у Элли оказалось множество. Все это, наверное, неплохо, когда человек еще набирает жизненный опыт, но Паносу хотелось для жены большей сосредоточенности на главном, на ее быстро накапливающей мускулы поэзии, большей выостренности внутреннего посыла. Он исподволь помогал концентрации творческой воли молодой жены, ориентировал ее на решающие цели. Вступление Элли в партию и выход первой книги были прямыми следствиями этих усилий.

Как почти все написанное Элли, ее первый поэтический сборник был посвящен Кипру, его богам и героям — киприоты ощущают свои мифы как часть исторической жизни (вот откуда «домашняя» интонация стихотворения Элли «Гекуба»), а также терпеливым крестьянам родной деревни; в стихах много природы и раздумий о месте Кипра в миропорядке.

Сосна моя, сосенка Кипра,
Ты — словно его душа
В поисках истины, которая ускользает
Вот уже много веков.

Элли, подобно другим греческим поэтам, использует свободный стих — верлибр, который с легкой руки французов стал господствующим в европейской поэзии последних десятилетий, не прививших только у нас, хотя опыты в подобном роде делаются.

Элли широко понимает судьбу Кипра, который жив не только мифологией, историей и сиюминутной борьбой; листок Кипра отделился от вселенского древа, но продолжает быть связанным с ним незримым черенком, поэтому в тему родного острова органически вплетаются и великий Октябрь, и подвиги героя Греции Ламбракиса и героя Испании Хулио Гримау. Панос помог Элли счастливо избежать того национального крена, который угрожает каждому, чью родину попирают чужеземцы. Элли рано узнала, что можно быть настоящим патриотом и гражданином мира. Отсюда глубокое и свободное дыхание ее поэзии.

У нее свой образ Кипра. Вот он:

…сияющий образ Кипра —
Образ открытой ладони,
Ладони, повернутой к солнцу,
Готовой с каждой ладонью
Слиться в рукопожатье.

Элли совершает свой поэтический путь в обратном общепринятом направлении. Обычно поэты идут от личного к общему, социальному, всечеловеческому. Достаточно назвать Пушкина, Блока, Маяковского, Пастернака: интимная лирика в юности, бури века в зрелости. А Элли начала с поэзии политической, с поэзии скорби, борьбы, призыва, а в самое последнее время у нее появилась любовная лирика. Известно, что бальзаковский возраст передвинулся на десять лет, но, думается, не в этом дело, и у Паноса нет оснований для тревоги. Поэтическая страсть Элли была безраздельно отдана Кипру, с максимализмом молодости она служила одному всепоглощающему чувству. К тому же Элли очень рано стала счастливой женой, откуда же взяться было лирическому пафосу, питающемуся страданием, болью, разлукой, непрочностью восторга, над которым нависает тень разочарования. В раю, где

царит полное счастье, нет поэзии, обитатели сидят на облаках, свесив ноги, и лениво тренькают на арфах. Поэзия Элли Пеониду предельно искренна, ей не к чему было имитировать якобы обязательные для поэта чувства, но с наступлением полной душевной зрелости в человеке увеличивается внутренняя емкость. В этом свободном пространстве находится место и личностному без малейшего ущерба для главных ценностей. У поэтессы как бы растянулась шкала чувств, она осознала оберегающую ее нежную и прочную силу и откликнулась ей.

Но мы сильно забежали вперед. В шестидесятых и семидесятых шло углубление и расширение четко определившейся темы: Кипр — любовь моя, Кипр — боль моя, Кипр — надежда моя. Выходят отдельной книгой поэмы: «Часы Никозии» и «Пусть будет дождь». В последней поэме образ иссохшей, алчущей живительного дождя земли символичен. Из рамок традиционности поэму выводит тон дружества в отношении турецкого населения Кипра. Поэтесса не отделяет своих единокровных от других пассажиров того же скорбного корабля. Она видит выход в братстве боли, что свидетельствует о ее политической зрелости. И сейчас, когда демаркационная линия перерезала тело Кипра, коммунисты неуклонно стоят за то, что будущее страны должно строиться соединенными усилиями греков-киприотов и турков-киприотов, какой бы визгливой яростью ни исходили националисты.

В поэме «Плач Афродиты» Элли словно предвидела судьбу Кипра. Богиня плачет над телом прекрасного юноши Адониса, растерзанного вепрем. Ей, дарящей любовь, впервые выпало полюбить самой всей беспредельностью божественного сердца, но не бога, а смертного человека и узнать неведомое олимпийцам, что на земле любовь и смерть нераздвоимы. И она молит Зевса отнять у нее бессмертие, а с ним и бесконечность муки.

Поэт так странно устроен, что самые горькие строки могут родиться у него посреди благополучной — во всяком случае, внешне — жизни. Впрочем, так ли уж это странно? Прежде всего, не только для поэта, но и для любого бытового человека житейское благополучие не равнозначно душевному. Но есть и другое: дестабильность жизни зачастую отвлекает поэта от «звуков сладких и молитв» или уводит музу в подвал мелких переживаний, где личная обида, личное неустройство застят тревогу большого мира. И напротив, в спокойствии устроенного дня, в налаженном быте слышнее становятся голоса пространства: стон обездоленных, печальная и тонкая музыка мировых напряжений. Освобожденная от своекорыстных забот душа сливается с общечеловеческой душой. Нечто подобное произошло

с Элли. Когда переехали в Лимасол, ее жизнь упорядочилась. Она перестала метаться между журналистикой, преподаванием, радиосоветами молодым хозяйкам и детскими телепередачами. Она приняла предложение отца и пошла работать в его благоуханное торговое предприятие.

Тот, кто думает, что служба под рукой отца-хозяина — синекура, глубоко заблуждается. Две недели мы с женой прожили под одной крышей с Пеонидисами и видели, как мчалась на службу Элли, боясь опоздать хоть на минуту, видели, как обслуживала она капризных покупателей, как ворочала тяжеленные ящики, вела расчеты и со щеткой в руках подметала порожец и тротуар перед магазином. Она вертелась как белка в колесе, и в этом нет ничего удивительного, коли сам владелец делил с ней все заботы, включая дворницкие. В семейном предприятии не погоняешь чаев, не посплетничаешь с сослуживцами, не подымишь в коридоре и не смоешься раньше времени. Когда дело касается работы и прибыли, все родственные чувства побоку.

Четкие часы работы, точно распланированный день оставляли достаточно времени для свободной жизни души. Тем более что когда закрывался магазин, строгие хозяева становились просто родителями, и мать — замечательная кулинарка — укладывала в машину дочери судки и термосы с горячим обедом из национальных блюд.

Счастливая в браке и материнстве (мы упомянули милую дочь Мелину, но ей предшествовал сын), раскрепощенная от мелочной борьбы за существование, опирающаяся на духовную поддержку мужа, Элли жила своей глубинной сущностью, черпая из тех пластов себя, которые могли бы при других обстоятельствах остаться тайной для нее самой. И вот из этих глубин раздался тот провидческий голос, который сказал, что Адонис вновь будет растерзан вепрем.

И он грянул — страшный 1974 год, самый трагический в многострадальной истории Кипра, который видел первую улыбку Афродиты, но слышал и ее первый стон. Улыбка погасла в незапамятные времена, а стон усилиями ассирийцев, египтян, персов, римлян, византийцев, крестоносцев, генуэзцев, венецианцев, турков, англичан так и не замолкал в тысячелетиях — двадцать семь веков длилось иностранное владычество на Кипре.

15 июля путчисты, направляемые афинской хунтой, разгромили президентскую резиденцию, символически расстреляли монумент кипрской независимости и поставили «правительство» террориста Сампсона, известного своими

расправами над турками-киприотами. Анкара только того и ждала: бестолково, но оперативно турки высадили сорокатысячный экспедиционный корпус, на белые кипрские города посыпались бомбы, длинными очередями крупнокалиберные пулеметы косили обезумевших от ужаса мирных людей. Греческие офицеры, командовавшие национальной гвардией, вели себя изменнически: турки почти беспрепятственно продвигались в глубь страны. Путчистам были на руку паника и дезорганизация. Лишь на подступах к столице патриотические силы оказали захватчикам отчаянное сопротивление. Целью путчистов было присоединение Кипра к Греции, они боялись народного возмущения больше, чем военных успехов турков, которых НАТО могло остановить одним окриком. Но не отсюда пришло избавление. Уже гремел голос чудом спасшегося архиепископа Макариоса, взывавшего к людской совести, весь мир охватило движение солидарности с борьбой киприотов. Совет Безопасности ООН потребовал прекращения огня. Турки послушались, но раньше заняли всю Пиринею, всю Фамагусту, значительную часть Никозии. Разрушенные города, двести тысяч лишившихся крова, «зеленая линия», разломившая страну на греческую и турецкую части, дезорганизованная экономика, вытоптанные поля, уничтоженные виноградники, сожженные плантации, замолкший международный аэропорт, опустевшие пляжи Фамагусты, взорванные причалы — вот результаты скоротечной, жестокой и никому не нужной войны.

Турецкое население острова потеряло неизмеримо больше, чем приобрело. Собственно говоря, приобрело оно два опустевших курортных города, которые не в силах восстановить и освоить, мертвый аэропорт, сколько-то плантаций и виноградников, отошедших к переселенцам из Турции, а потеряло налаженную экономику, рабочую занятость, твердые заработки, поскольку весь туризм переместился в Ларнаку, Лимасол и Пафос, и международная торговля осуществляется теперь через эти порты. И перед греческим Кипром последствия войны поставили ряд сложных проблем. Первая и самая больная — размещение беженцев. Горестное положение бездомных оказалось мощным строительным стимулом. Архитекторы, инженеры-сантехники, каменщики, штукатуры, плотники, художники-оформители стали на вес золота.

Громадным и ужасным памятником минувшей войны остается Фамагуста. Мы подъезжали почти к самому подножию этого скорбного монумента, к тому месту, где шоссе перегорожено подобием шлагбаума и мятыми бочками из-под бензина, наполненными землей. Но «большое видится на

расстоянье», и город во всем своем обманчивом великолепии открывается от курортного местечка Айанапа. Солнечный свет растекается по глади белых стен роскошных отелей, высотных зданий банков, магазинов, учреждений, портовых сооружений. Кажется, что перед вами живой красивый южный город, органически вобравший старину с мечетями и минаретами в современные четкие формы. Это обман — Фамагуста мертва. Конечно, какое-то шевеление продолжается в старом городе, укрытом крепостными стенами, где от века обитали турки-киприоты, обжили они в последнее время и прилегающие к старому городу кварталы, редкие грузовые суда, в основном из Турции, заходят в сильно пострадавший порт, но прежней блистательной, кипучей, многоязычной, звенящей жизни нет и в помине, ведь сияющим лицом Фамагуста был новый город, выросший у старых крепостных стен и названный Вароша. Так вот в Вароше не осталось ни души, и турецкая администрация даже не пытается ее обжить. Трескается асфальт, прорастает травой и кустами, зияют пустые проемы окон, кое-где трепещут выгоревшие порванные занавески. Ветер наметает тонкий земляной прах в вестибюли отелей, банков, в магазины, опустошенные крысами. Серые грызуны, чудовищно расплодившиеся, — настоящие хозяева Вароши. Когда люди уходили из Фамагусты — многие прямо с пляжа, в купальных костюмах, а дома на плите варился фасолевый суп, — город был набит продуктами: в магазинах, на складах, в трюмах судов, в холодильниках — и вся эта снедь досталась крысам.

Недавно я смотрел в Вене страшный фильм «Крысы Манхаттена». Это довольно гнусная фантазия на тему термоядерной войны. В атомном смерче уцелели лишь самые приспособленные обитатели планеты — крысы, они завладели опустевшим миром. Когда я с мукой отвращения смотрел этот фильм, мне и в голову не приходило, что через несколько месяцев столкнусь с реальным подобием крысиного Манхаттена. Мы живем в такое время, что любая чудовищная выдумка фантастов немедленно осуществляется в действительности. Наше детство распевало: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», наша старость видит, что былью становится не сказка, а Кафка с его больным воображением.

Крысы Фамагусты пожрали все запасы продовольствия, пожрали трупы убитых и тела недобитых, пожрали всех кошек и собак и что-то еще догрызают в пустой, медленно разрушающейся от стихий и заброшенности Вароше.

Фамагусту можно спасти, если исчезнут шлагбаумы, бочки с песком, «зеленая полоса», если слово «киприот» будет означать

гражданин единого островного государства, чьи народы, имеющие тяжелый, но не безнадежный опыт сосуществования, объединятся на федеративной основе. А пока что…

…Родина, ты стала куском бумаги,
который переносят с конгресса на конгресс.
Родина, ты стала узлом белья,
которое свалили в порту среди гнилых досок.
Куда девалась твоя земля, белая глина, красная глина,
на которой замешана культура,
заполнившая витрины музеев мира?..

Я упоминал о людях, уходивших почти обнаженными с пляжей Фамагусты, атакованной с земли и воздуха. Среди них оказались и близкие друзья Пеонидисов, у которых мы побывали в гостях в их прелестном доме близ Айанапы. Их «приключение», как любит говорить Роберт Музиль, вводя в смысл слова душевную ситуацию, могло бы стать новым мифом. Они познакомились на пляже Фамагусты. Георгиас был местным жителем, талантливым художником и дизайнером, голландка Жаннет — женой большого пианиста, приехавшей на модный средиземноморский курорт. Когда-то Жаннет, награжденная богами остро, даже жестко современной и вместе лунатической удлиненной, будто из древнего сказания, красотой, была ведущей манекенщицей знаменитого Кристиана Диора. Тогда же она снялась в фильме вместе со своей подругой Сильвией Кристалль, создавшей образ и тип Эмануэль. Кристалль прижилась в кино, а Жаннет предпочла превратностям киносудьбы и скоротечности карьеры манекенщицы прочные радости брака. Она вышла замуж и родила сына. Счастливая семейная жизнь рухнула в то мгновение, когда на пляже в Фамагусте Жаннет познакомилась с загорелым мускулистым и волосатым хиппи, как потом оказалось, ярко талантливым художником. Но это обстоятельство ничего не значило, он мог быть чистильщиком сапог, ловцом осьминогов и кальмаров, просто лоботрясом, ничто не играет роли, коли «расшибло громом». В Сицилии это означает ту степень внезапной страсти, когда разом отпадают все моральные запреты, житейские соображения и обязательства. Все рушится перед велением рока. И у Жаннет не было никаких проблем, кроме сугубо практических: скорее оформить развод, забрать сына и вернуться в Фамагусту. Так все и было бы, не грянь иной гром — из турецких орудий. В потоке беженцев Георгиас и Жаннет потеряли друг друга, кажется, он был ранен. Жаннет перенесла сильнейшее нервное потрясение, но, едва выйдя из клиники,

принялась разыскивать любимого. Следы его были потеряны. Как потом выяснилось, он очутился в Афинах, без гроша в кармане и без записной книжки с адресом Жаннет.

Через греческих художников Жаннет удалось отыскать Георгиаса. Они съехались на Крите, который традиционно соединяет людей. Романтическое приключение Тесея тоже связано с Критом. Там он обрел Ариадну, а разъединил их Наксос. Георгиаса и Жаннет остров Наксос не соблазнил, они отправились прямо на Кипр, где поженились, построили дом и родили сына.

— Чем не сюжет для поэмы? — сказал я Элли.

— Я написала поэму о Фамагусте, — улыбнулась Элли. — Но героиня у меня другая — не Жаннет, а Дездемона. Это монолог Дездемоны.

И тут я вспомнил, что самая пленительная и горестная героиня Шекспира окончила жизнь в Фамагусте. Отелло был правителем Кипра.

Трагедия 1974 года определила тон и цвет поэзии Элли последующих лет. Характерны названия циклов: «Обвинения», «Осуждения» (они вошли в новую книгу поэтессы, изданную в Афинах). Но взгляд Элли не замутился оскорбленным национальным чувством, она по-прежнему относится к туркам-киприотам с добротой понимания и сочувствием, ведь, кроме призрачной государственности, они ничего не получили, а потеряли много.

Не все раны проходят, иные зарастают снаружи, а внутри продолжают кровоточить. Но все можно стерпеть, когда есть цель, есть свет впереди. Панос не позволил Элли потерять этот мерцающий во мраке огонек, помог сберечь внутреннее здоровье. Ей грозило сужение поэтического горла, сведенного спазмом горя, но этого не произошло, напротив, дыхание стало глубже, поэтическое слово звучнее и емче, появились новые мотивы, чувства, шире стал образный ряд. И, как уже говорилось, забил новый — лирический — ключ. Последнее не в ущерб общественному темпераменту. Пеонидисы много ездят, участвуют во всевозможных форумах, симпозиумах, фестивалях, у них масса друзей, рассеянных по всему свету.

Творчество Элли расширилось и в жанровом плане, она обратилась к прозе и к драме, издала роман для детей «Брат, сестра и черная репа», за который удостоена Государственной премии, ее детская пьеса с успехом идет в Никозии, в Афинах, в болгарском театре имени Людмилы Живковой. И романом, и пьесой она хотела доказать, что политическая литература для детей не только возможна, но и нужна.

Элли мечтает о профессиональном театре для детей. А пока усердно посещает спектакли тех самодеятельных или полупрофессиональных коллективов, которые стали появляться на Кипре.

Я был на одном таком спектакле в новостроечном поселке, километрах в тридцати от Лимасола. Только что сложившаяся крошечная гастрольная труппа давала премьерный спектакль для школьников. Два оборванца с ярко размалеванными лицами, в шутейном одеянии и немыслимых башмаках неутомимо орали друг на друга, пытаясь втемяшить свое имя в пустую башку собеседника. «Я — Захариас!» — надрывался один, тыкая себя пальцем в грудь. «Я — Пелерато!» — рычал второй. «Захариас!» — срывал голос первый. «Пелерато!» — изнемогал второй. А дети, милые, смуглые, черноголовые дети, покатывались от смеха, чуть не падали со стульев и трогательно прижимали кулачки к груди, чтобы не выпрыгнуло сердце. Удивлял их восторг, не соответствующий бедному зрелищу. Я заметил, что у Элли подозрительно повлажнели глаза.

— Это все дети беженцев, — сказала она.

Селение, в котором мы находились, построено для бездомных Фамагусты. В зале сидели дети войны, многие из которых — кто смутно, а кто навек отчетливо — запомнили уход с родной земли под раскаленным и равнодушным солнцем. Я с невольной симпатией, даже уважением глянул на Захариаса и Пелерато, не жалевших своих слабых сил для радости опаленных войной детей.

— Понимаете, как нам нужен детский театр, — говорила Элли по дороге домой, — если даже такое неискусное зрелище вызывает бурю восторга… Нет ничего печальнее опечаленных детей.

Я обмолвился словом «домой». Впервые за мою долгую жизнь чужое обиталище стало для меня вторым домом. И сейчас, в морозном Подмосковье, я что ни день проделываю мысленно путь, которым мы впервые попали в дом Пеонидисов, а потом столько раз возвращались с моря, предвкушая обед с непременно новым загадочным блюдом. Путь этот начинается с набережной, от ветхого летнего кафе, где редко-редко увидишь посетителя, потягивающего из горлышка бутылки «фанту», но зато бойко идет торговля свежей, только что пойманной рыбой; скользких рыбин кидает на весы и заворачивает в бумагу единственной рукой хозяин кафе, старый веселый рыбак-браконьер, которому вторую руку оторвало динамитом; тенистой улицей, душно припахивающей зверем, — тут находится маленький зоопарк с вольно разгуливающим по территории слоном, но сколько мы ни

ходили, слона-то не приметили, — подымаешься к нарядной, залитой солнцем площади, огибаешь ее и после двух поворотов оказываешься на тишайшей улочке, — которой так к лицу название «Парадайз» — Райская, увитой бугенвиллиями, поросшей фламбойанами и сладко припахивающей лимонной цедрой. Здесь и стоит в кустарниковой поросли двухэтажный домик Пеонидисов. Как покойно, хорошо и вместе значительно было наше пребывание там, среди картин, гравюр, книг и комнатных растений, в ежедневном общении с добрыми, глубокими людьми, под мазурки, полонезы и вальсы Шопена, то и дело притягивающего к роялю славную Мелину.

Были мы и в деревенской избе Пеонидисов, солидном, обжитом крестьянском жилище с закопченным очагом, с овчинами на лавках, с тяжелым деревянным столом, на котором — оплетенные бутылки отличного местного вина, козий сыр, копченая свинина, овощи, взорванные спелостью, гранаты и горы розового твердого крупного винограда. Сюда без зова, по-соседски, заходили односельчане наших хозяев, нерослые, кряжистые люди, с большими, теплыми, спокойными руками землепашцев. Чувствовалось, что у них была некая непроговариваемая вслух надобность в Паносе. Они плотно заполняли широким крестцом грубо сколоченные кресла, принимали в руку глиняную кружку с вином, которую за долгое сидение редко осушали до дна, и как-то умно, сосредоточенно молчали, предоставляя хозяину самому догадаться, зачем они пожаловали. Панос был свой, но вместе и городской, сведомый во всех делах лучше любой газеты. И Панос понимал, что от него ждут, и как-то между делом, двумя-тремя словами, жестом, взглядом, улыбкой, то ироничной, то горьковатой, то веселой, давал людям нужное им. Это не было деревенским каляканьем: мужики набирались у Паноса уму-разуму, а к Элли шла от них жизненная сила ее поэзии…

Я давно, очень давно знаком с Элли и Паносом. Мы столько раз встречались в Москве: и на кинофестивале, и в больших, пестрых компаниях, когда много шума, задиристых разговоров, и в домашней обстановке, где разговоры тише и серьезнее. Однажды, еще в спокойные времена, Панос ждал меня с бутылкой коньяка в аэропорту Никозии, ныне мертвом, я летел в Дамаск, а здесь была часовая остановка. И вот тогда, наверное, в судорожной краткости встречи у меня мелькнуло чувство, что нас связывает нечто куда большее, чем поверхностное дружество. Но надо было побывать в Лимасоле, чтобы узнать настоящую цену нашим отношениям.

Сейчас, когда мировая ситуация так напряжена и каждое

слово политиков взрывоопасно, мне особенно тревожно за моих друзей, за их милый дом на улице Парадайз и за их большой дом, тот, что посреди моря, очертаниями напоминающий дубовый лист.